

майя кучерская



роман

Майя Александровна Кучерская

Бог дождя

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=434565
Бог дождя: Время; М.; 2007
ISBN 978-5-9691-0206-4

Аннотация

Майя Кучерская, автор маленькой книжечки «Современный патерик», ставшей большим событием (Бунинская премия за 2006 год), в своем новом романе «Бог дождя» «прошла буквально по натянутой струне, ни разу не сделав неверного шага. Она подняла проблему, неразрешимую в принципе, – что делать с чувством, глубоким и прекрасным, если это чувство, тем не менее, незаконно и недопустимо» (Мария Ремизова). Переписав заново свою юношескую повесть о запретной любви, Майя Кучерская создала книгу, от которой перехватывает дыхание.

Содержание

Часть первая	4
Некролог	4
Свежий воздух	9
Не до борща	16
Архимандрит Киприан все объяснил	18
Лестница в небеса	20
Не забудьте полотенце!	23
Полотенце пригодилось	26
Уста к устам	27
Еще немного поговорим	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Майя Александровна Кучерская

Бог дождя

*...О, кто бы направил
К золотым твоим берегам
скитальческий парус!*

Гёльдерлин. К Эфиру

Часть первая О ВСТРЕЧЕ

Некролог

Она успевает. Втискивается в ближайший вагон, он забит, пятница, вечер, последние предзимние работы, закутанный, толстый от одежды народ. Духота. Она пробирается по вагонам дальше, вперед, туда, где людей наверняка меньше и есть места. Проходит сквозь густые дымные облачка тамбуров, сквозь скопившихся в них мужиков, запах пота и перегара. Вот он, пустой лакированный край скамейки, она садится, сумку бросает в ноги. Электричка трогается. За окном плывут хрущевки, облупленные железки детских площадок, гнутые столбы от качелей, качелей давно нет. Чахлые деревца, розовый квадратик одеяла сушится на балконе – единственная яркая точка в студне вечера; дома исчезают, начинаются пустыри, тянется бетонный забор, на нем написано синей краской: «Светка, я тебя люблю». Лес. В темной, зрелой зелени мелькают желтые прядки.

Ее подташнивает, она плотно закрывает глаза, но так еще хуже. Нашупывает в кармане пачку, страшно хочется покурить, но тогда наверняка займут ее место. А ехать еще долго. Она остается сидеть. В ногах черная сумка, она расстегивает молнию – батон хлеба в целлофановом пакете, плоская банка шпрот, «Литературная газета», купленная по пути на вокзал. Она вынимает газету, раскрывает, заметно вздрагивает. Со второй страницы на нее смотрит тот, кого они вчера хоронили. Фотография, краткий некролог, рядом большая статья о нем. Читать она не может, закрывается газетой, газета слегка дрожит. Поезд набирает скорость, из оконных щелей пробивается ветерок, уже несколько станций позади, и она поднимает голову, смотрит в его лицо, в кроткие глаза за стеклами очков, в мелко набранный текст.

«Человеческая гениальность как бы одухотворяла и поясняла его гениальность как ученого», – читает она первую фразу и ничего не понимает. Перечитывает еще и еще, наконец пробивается и сквозь «как бы», и сквозь «гениальности». Читает дальше: «Свободное владение несколькими древними языками, включая арамейский и древнеегипетский, удивительная способность к проникновению в давно исчезнувшие культурные пространства и их реконструкции, кажется, были бы невозможны без его личной убежденности, что ни культура, ни язык, ни люди не бывают мертвы, но лишь забыты. "Надолго забыты? – часто вопрошал он в одном из своих бесчисленных "публичных" выступлений (более напоминавших не обращение к слушающим, но сосредоточенное собеседование с самим собой, на таинство которого допускались студенты) – Всего лишь на время. Кем забыты? Всего лишь нами". Напрашивалось: нами, а не...? Довершить ответ предоставлялось самой публике. Он же в качестве последнего доказательства и подсказки оставил образцовые художественные

переводы античных авторов, неизменно отмеченные редкой естественностью ума и вкуса. Мысль, чуждая претенциозности, вкус, избегающий стилизации, – так просто».

Она скользит взглядом вниз – под текстом подпись, вот это да! Ольга Грунина! Да это же Грунис, которая вела у них латынь... Просклоняйте, переводите, вы занимаете чужое место, *grex, gregis, gregi, gregem, grege*¹ – так и стоит в ушах ее металлический голос. Для нее они – как раз «стадо», тупые первокурсники, не умеющие распознать третье склонение мужского рода, путающие герундив с герундием. Но тут, видно, пробило даже Груниса. «Нами, а не...» Еще недавно такое не напечатали б ни за что.

Впервые Аня увидела его полтора года назад. Она была еще школьницей и ходила в университет на подготовительные курсы филфака; на филфак она собиралась точно, не решила только, на какое отделение поступать. Толкать стеклянную дверь первого Гума, стягивать в гардеробе куртку, сжимать в кулаке пластмассовый номерок, подниматься на лифте на девятый этаж было необыкновенно приятно: каждый раз в этих стенах ее охватывало ощущение приобщенности – к самому важному, почти святому...

В тот день занятия неожиданно отменили – заболел преподаватель. Аня тихо шла по коридору, никуда не торопясь, мимо сновали студенты, они уже учились, они поступили, но, вместо того чтобы смеяться от счастья, были какие-то бледные, нервные, что-то озабоченно друг другу говорили: опоздаем, курсач, не поставит... Она остановилась около большого стенда. Два ватмановских листа с расписаниями: 1-й курс русского отделения, 2-й курс романо-германского отделения. Историческая грамматика, история лингвистических учений, датский язык! Номера аудиторий, фамилии преподавателей, все учено и чинно, как вдруг рядом – пришпиленный булавкой – голубой листок объявления: «Лекции по античной литературе в связи с недостатком помещения переносятся из ауд. 110 в ауд. 7». «В связи с недостатком помещения» – это как? Аня улыбнулась. На бумажке стояло число – сегодняшнее, и время – лекция началась полчаса назад. Она спустилась на первый этаж, в седьмую аудиторию. Дверь в нее была чуть приоткрыта.

Аня осторожно глянула в щелку: огромная аудитория действительно оказалась битком – «недостаток помещения» наблюдался и здесь! Многие сидели на ступеньках. Над деревянной кафедрой возвышался человек – седой, сутулый, в сером обвисшем костюме, в очках с толстенными стеклами. Стояла абсолютная, только не мертвая, а живая тишина. Человек говорил – протяжно, довольно высоким, но приятным и мягким голосом. Ни на кого не смотрел. Говорил, точно бы пробиваясь сквозь легчайшую дрему, отвлекаясь от другого, не менее важного дела. Аня напряглась, вслушалась: слова плыли медленно и плавно, и казались завораживающе красивы – только ничего было не понять. Как будто он говорил на иностранном языке; только щепочки, только осколки – «император», «Рим», «первородство», «царство», «вульгарная латынь»... Она стояла и слушала, все равно как слушают музыку. И вдруг, еще через несколько минут, внезапно разобрала смысл: «...в интонациях его чудной серьезности, не разрушенной опытностью, неизменно звучит "мальчишеский", юношеский тембр. На фоне его поэзии фривольность Овидия кажется перезрелой. Можно сказать, он относился к особой породе людей, не вечных юношей, а вечных отроков... И действительно Гёльдерлин, Гюго, Шиллер держали его за своего...» Аня восторженно вскрикнула: кого, кого его? Тут же позвучал и ответ.

«Захватывающая тайна и сладкая жуть "Энеиды" очаровывала, манила их за собой, притягивала, как магнит. Вергилий стал для своих современников»...

Она начала терять сознание. Словно чьи-то руки вдруг подняли и понесли – к сладкой жути, вечным отрокам, к этому сутулому сонному человеку, в каждом слове которого – чудо

¹ Склонение существительного «стадо» (*лат.*), в латинском языке относящегося к мужскому роду.

и жар. Что это? Почему то, что он говорит, так прекрасно и так трогает? Она отпрянула от двери, слушать дальше было невозможно! И быстрой тенью в сознании промелькнуло совсем другое лицо – чем-то этот лектор неувовимо напомнил ей давно умершего деда. Дед всю жизнь проработал водителем на заводе, а в войну возил снаряды, дед, конечно, был совсем из другого мира, но тоже как-то таинственно связывал ее с прошлым, с тем, чего не коснешься рукой. Аня спустилась в гардероб, руки в рукава, шарф вокруг шеи, шапку в карман – вылетела на улицу, толкнув плечом прозрачную дверь.

Зима кончилась, снега почти не осталось, только редкие бугорки под кустами да голая, темная, чуть смущенная земля. Стояло любимое ее время – апрель, она вдохнула сырой, пропитанный солнцем воздух, и тут же ощутила тоску. По этому странному лектору, по Вергилию, Гёльдерлину, Шиллеру, кому-то еще, о ком он говорил, а она не запомнила.

И она поехала не домой, а в районную библиотеку, где бывала часто, знала всех библиотечарш в лицо – попросила стихи Гёльдерлина и «Энеиду» Вергилия, из абонемента ее отправили на второй этаж, в читальный зал. Там ей выдали Вергилия в черной, бархатистой обложке и какую-то рассыпающуюся хрестоматию по европейской поэзии – с тремя стихотворениями Гёльдерлина – о Греции, о весне, об Эфире. С них она и начала. *«Снег слетает с ветвей подобно гряде лохмотьев, Прыгают рыбы вверх над яркой гладью потока...»* А что, совсем неплохо! Даже весело. И про ветер, который веет «сквозь поры трепетной жизни» – ей тоже понравилось, в этих стихах было так много красоты и действительно юношеской мечтательности. С Вергилием дело пошло хуже – разве что энергию его строк она уловила, но проникнуть в их смысл было трудно – незнакомые имена, боги, люди, намеки на неведомые ей обстоятельства – не лазить же за каждым словом в комментарий! В Вергилии, в отличие от Гель дер лина, Аня не разглядела даже намека на отрочество – ничего из того, о чем говорил сутулый, протяжный лектор. Но может быть, тексты – просто оболочка, черно-белая фотография, и нужно, чтобы именно этот человек лично представил им тебя, привел, передал из рук в руки?

Вскоре она узнала имя лектора – Журавский. Профессор с классического отделения, преподающий классикам и ромгерму античную литературу, светило и всеобщая любовь. Попастъ на другие его лекции она даже не пыталась. Все было ясно и так: она поступит в университет, просто чтобы учиться у Журавского. На классика или ромгерм. Но от классики их школьный учитель по литературе, веселый и по-своему великий Эпл, прозванный так за ярко-красные, и правда похожие на яблоки щеки, удивительно контрастировавшие с его уже почтенным возрастом (ему было пятьдесят лет тогда, но им казалось – старик!), быстро ее отговорил: «Праздник жизни, молодости годы я сгубил под тяжестью труда? Хочешь дни и ночи учить латынь и греческий?». Аня дрогнула, молодых лет стало вдруг действительно жаль, и она остановилась на ромгерме, немецком, разумеется, отделении – немецкий она учила со второго класса в спецшколе. Эпл помогал как мог – нашел репетитора по немецкому, строгую и четкую Ингу Генриховну, давал книжки из собственной библиотеки, правил ее внеурочные сочинения, а уже в июне, перед самыми экзаменами, занимался с ней одной каждый день – бесплатно, разумеется. До этого подобной чести удостаивалась, кажется, только Петра...

Аня поступила, провела на даче чудесный август, и вернулась в Москву к сентябрю – раз в неделю Журавский читал им лекцию. Давнее чудо повторялось неизменно. Ощущение, что прикасаешься к Другому, несло прочь из старой аудитории, от исписанных столов и глупой зеленой доски, к ним – вечно бушующему морю, нежным курчавым грекам, у которых, по выражению Катона, слова стекали с губ, к меднолицым римлянам, говорящих прямо и от сердца, к Гете, Брентано, Шекспиру, Данте, которых Журавский тоже постоянно обильно цитировал – на пир к всеблагим.

Выяснилось, что профессора в универе не просто любили, уважали – его обожали – с затаенным ужасом и восторгом, именно как вестника иного мира. Даже начальство терпело его странности и прощало ему все – так прощают юродивых.

С каких заоблачных высей он спустился, из каких приплыл к ним земель? Толком ничего не было известно. Говорили, что мать его приходилась близкой родственницей Иннокентию Анненскому, отец был кадровым офицером, сам профессор признался однажды, что дед и бабка его жили еще при крепостном праве. Иногда в лекциях его проскальзывали упоминания о заседаниях каких-то эфемерных обществ любителей древностей, он цитировал какие-то всеми кроме него навеки забытые, читавшиеся там доклады... Случайно выяснилось, что и сам Журавский когда-то писал стихи – две дотошные девочки-русистки наткнулись однажды в ветхом журнальчике на два его стихотворения. *«В златой дубраве Аполлона / Сквозит сиреневая мгла»*... Найденные стихотворения распространялись среди студентов в списках. Поговаривали и о позднем, большом «дальневосточном» цикле: как будто профессору довелось побывать и в тех далеких краях, но возможно, то были лишь пустые слухи, домыслы, не важные, не, как любили у них выражаться, релевантные, потому что главным в Журавском было другое. Облик его дышал немыслимой, незнакомой ни по кому другому, свободой.

Зимой в университете плохо топили, он входил в аудиторию в потертой ушанке с опущенными ушами в черном пальто. И читал лекцию одетым, все так же знакомо сутулясь, опустив глаза, без бумаг, цитируя на память непостижимо длинные куски из Гесиода, Пиндара, Плутарха, Катулла, иногда спохватываясь и переводя, иногда просто комментируя. Кажется, он не понимал, что первокурсники еще просто не в состоянии воспринять на слух греческий и латынь. В середине лекции Журавский мог вдруг прервать себя и пуститься в длинные застенчивые объяснения. Беда в том, что со вчерашнего вечера его бьет озноб, надежды поправиться по дороге на лекцию не оправдались, если только позволительно говорить о несбыточности каких бы то ни было надежд, а из окна сильно дует, он уже пытался отодвинуться, но лишь напрасно потратил силы, озноб усиливается, и он просит почтеннейших слушателей простить и отпустить его душу на покаяние. Все это тем же лекционным, протяжным тоном, обстоятельно, без всякого кокетства, но с неуловимой, едва угадываемой слушателями тихой улыбкой. Душу отпускали на покаяние, и неторопливо, в полной тишине он шел.

Проходя мимо него по сумрачному университетскому коридору, можно было расслышать вдруг невнятное, но как будто ритмически организованное мычание – редкие знатоки этих мелодий и ритмов узнавали псалмы Давидовы, щеголяя даже и номерами – профессор часто напевал их, направляясь в аудиторию. Но был ли он христианином? Был ли православным? Он был человеком.

Так и говорили старенькие университетские гардеробщицы, кроме него вряд ли кого еще так хорошо знавшие из многочисленных преподавателей, а о Журавском жалели, по очереди ходили к главному выходу читать некролог, он у них раздевался, он с ними всегда со странной, трогавшей их сердечностью здоровался, говорил неподолгу, и они причитали, качали головами: «Какой человек был!».

Мужичок слева от Ани засопел, едва они отъехали от Москвы, но голова его болталась, он поерзал и, не просыпаясь, положил голову ей на плечо. В нос ударило легкое облачко вони – перегар, пот, давно не мытое тело. Аня попробовала отодвинуться – и не смогла, сонная голова потянулась за своей подушкой – ее плечом. Темные жилистые руки в шрамах, на большом пальце голубела татуировка – рыбка в чешуе. «Налакалси», – неодобрительно подытожила бабка напротив, нахохлившаяся, коричневая, худая, в шерстяном зеленом платке, с двумя набитыми доверху сумками, одна в ногах, другая на верхней полке, бабка изредка

поднимала туда глаза – проверяла. Рядом с бабкой пристроился длинный нескладный парень с книжкой в руках, которую он читал не отрываясь – электричку качнуло, книжку повернуло обложкой вверх – батюшки, Бердяев!

У окна сидела полная женщина с белокурой девочкой в рейтузах. Девочке не сиделось, она крутилась ныла, мать отпустила ее немного погулять по вагону. Вскоре девочка вернулась, счастливая – с чужим подаренным петушком на палочке. По пути к маме девочка вдруг остановилась, вынула изо рта леденец, хитро посмотрела на Аню, протянула ей сырую липкую палочку: на, полижи! Аня замотала головой; мать сердито усадила дочку на колени, Аня улыбнулась – слегка забито. Липкие ладошки сейчас же были вытерты материнским платком, петушок снова поселился во рту.

«Голос его был камертоном подлинности, – читала Аня дальше и надивиться не могла: безжалостная Грунина писала прочувствованно и мягко. – Никогда он не был окружен явными учениками – для этого профессору не доставало уюта и домашности, при трогательной внимательности к людям, слишком много в нем было инаковости, неотмирности, делавшей близкое общение невозможным».

Это было правдой, и сама Аня разговаривала с Журавским лишь однажды в жизни, минуты три, все-таки решилась посоветоваться с ним по поводу реферата по античке. Вопрос ее был высосан из пальца, ей просто очень хотелось перемолвиться с ним хоть словом – они стояли у аудитории, он сказал ей в ответ несколько в общем ничего не значащих слов, которые сразу же и забылись, вытеснились. Потому что после этого профессор пошел в аудиторию, чуть споткнулся, уронил книгу, темно-зеленый литпамятниковский том, она мгновенно подняла, он взял книгу, но уронил ручку, она подняла, и тут Журавский с какой-то невозможной кротостью поцеловал ей обе руки... Экзаменов он никогда не принимал, отправлял аспиранток.

«Отчего-то казалось: такой человек должен был угасать медленно и красиво. Он же умер с трагической резкостью – упал поздним вечером на улице от сердечного приступа».

Это не он упал с трагической резкостью, это упала вся Анина жизнь.

Она ехала на дачу. Ехала умирать, и в этом у нее не было ни малейших сомнений. Пусть лежит вонючий мужичок на плече – он провожает ее в последний путь. Пусть девочка протягивает ей леденец и режет младенческой лаской сердце – вот она прощальная улыбка судьбы. Пусть не куплена новая пачка сигарет – зачем? И пусть умер Журавский, это уже не важно.

Он жил, и было понятно, зачем эти книги, эти тени, блуждающие в миртовом лесу, зачем бесконечная череда бывших и небывших героев, озорных богов, мстительных богинь, троянцев, дарданцев, вечно бьющихся друг с другом, вечно ждущих попутного ветра и плывущих навстречу судьбе. Их упрямое движение вперед завораживало, в их готовности к смерти пряталась тайна. Раньше она только изучала их, теперь двинулась за ними вслед.

За окном поплыли квадратные лоскуты огородов, кое-где еще не убрана была картошка, запах сырой земли проникал даже сквозь толстые деревянные, сплошь изрезанные рамы окон их вагона. Люди входили и выходили, исчезла нахоленная бабка с сумками, исчез парень с Бердяевым, на его место села смуглая женщина с коричневым пуделем в красной клеенчатой сумке, пудель слегка дрожал и поднимал уши, хозяйка, опустив в сумку руку, чесала ему за ухом. Девочка в рейтузах давно уже спала на руках у матери, которая тоже задремала. Место бабки осталось незанятым, вагон пустел. Мужичок все посапывал у нее на плече, грел, подскакивал головой, его серая кепка упала на пол. Электричка отходила от «Зосимовой пустыни», следующая была ее. Аня передвинула теплую голову на спинку скамьи, подняла кепку, положила на синеватые сцепленные руки. Прощай, дружок! Дружок только тихо всхрапнул в ответ.

Свежий воздух

Здесь небо было выше и светлей, чем в городе, видно дождь не шел тут со вчерашнего дня – идти от станции было почти сухо. Аня шагала по каменным плитам сквозь жидкую желтую рощицу, вдыхая горькие осенние запахи. При малейшем ветерке с деревьев слетали стайки листьев, и, казалось, несли на землю ранний тихий сумрак.

Она открыла никогда не запиравшуюся калитку, врезанную в почерневшие деревянные ворота, пошла по песчаной дороге. На их улице никто пока не приехал: задернутые окна, пустые участки – может, съедутся завтра. Только из трубы бревенчатой сторожки, стоявшей в самом конце ряда, летел дым. Там жил их старый сторож дед Андрей; Аня помнила его еще с детства – сейчас он ходил уже еле-еле, с двумя кривыми палками, всегда в ватнике и ушанке, с белой щетиной на щеках. Дед Андрей любил заложить за воротник, пел скрипучим голосом песни, было у него и хозяйство – петух, куры, две козы – он пас их по очереди со своей бабкой Маней, которая была пободрей. От сторожки прибежали две собаки, мать и дочка – очень похожие: темная спина, светлое косматое пузо и грудь. Аня назвала их по именам: Альма, Лейка, привет! Альма счастливо заскулила, Лейка завиляла хвостом – красивые пушистые дворняги с сибирской лайкой в прапрабабках. Аня отломил им хлеба; понюхали и не стали: весной, исхудав за зиму, собаки бросались даже на огурцы, но после сытного колбасного лета рано было переходить на хлеб. Хвостатые девочки проводили ее до калитки и побежали домой.

Ключи по общему договору хранились в целлофановом пакетике, под крыльцом. Аня нащупала их в темной сырости под ступеньками, сняла с двери большой замок. Родители и тетка приезжали в прошлые выходные, и дух запустения еще не нашел сюда. Небольшой телевизор с антенной, который увозили на зиму в город (от воров), пока что стоял на тумбочке, прикрытый вязаной еще бабушкой кружевной салфеткой.

Дом был крошечный, отстроенный в строгие послевоенные годы, когда лишние квадратные метры карались законом. Сруб привезли из соседней деревни, а фундамент и крышу делали дедушка с тогда еще крепким дедом Андреем. Времена смягчали, родители давно уже собирались расширить и перестроить избушку, но никак не доходили руки. После тесной террасы с электроплитками и посудой начиналась отгороженная фанерной стенкой большая комната, в первой части которой они ели, во второй спали. В спальном углу приютилась кирпичная печка, над ней висел сушеный букет из неведомых Ане трав; по дому стелился свежий яблочный дух – под кроватью на газете лежала антоновка, но не так уж много – год выдался неурожайный.

Пока Аня ходила к колодцу, стемнело – мгновенно, резко. За дровами она пошла уже с фонариком. Затопила печку, поужинала чаем и шпротами, помочила из чайника тряпку, вытерла клеенку, вышла в тьму за добавкой дров. Подкинула дровашки в печку, чтобы они тлели всю ночь и грели комнату. Включила телевизор, но звук почему-то не работал – по первой программе кругло открывал рот черно-белый Михал Сергеич, по второй тревожно хмурилось знакомое лицо какого-то актера, фамилии она, конечно, не помнила, здесь он играл явного председателя колхоза. Третья и четвертая на даче не ловились, да и по второй шла рябь – Аня повернула выключатель, экран погас. Вышла на крыльцо, выкурила последнюю сигарету, зажевала табачную горечь антоновкой из-под кровати. Заперлась на щеколду, разделась и погасила свет.

Она храбрилась, как могла, но, полежав несколько минут в темноте, поняла: это конец. Это конец был. И улыбнулась горько тщетности своих усилий: зачем так старательно топила печку, зачем набивала живот хлебом и рыбой – до утра не дотянуть. Да нет, все правильно,

конечно, все как она хотела – в тихой пустоте, во тьме крошечной встретить смерть. Все складывалось точно по плану, вот он – дряблый финальный аккорд ее дурацкого пути.

Предчувствие конца охватило ее задолго до гибели Журавского, уход его всего лишь поставил точку. В конце фразы, сказанной по-гречески, по-латыни, по-немецки, по-русски, ха-ха. В этой фразе было всего-то три слова: не хочу жить. Ладно, четыре: жизнь не имеет смысла. Не чья-то – ее. У всех – да, видимо, имела, она не слишком смотрела по сторонам, – у нее нет.

Осознание этого настигло ее весной. До этого Аня училась – ходила на все лекции и семинары с прилежностью первокурсницы, по вечерам сидела в *библиотеке*, пропуская даже законные перекуры, на которые снимались почти все. Кто-то рассказал ей об этом старинном способе, и она тоже начала писать на бумажках новые немецкие и латинские слова, развешивала их по комнате на длинных нитках, цепляя к люстре, полкам, занавесочному карнизу. На обратной стороне русский перевод. Белые квадратики качались, с нежным шелестом гладили по голове – как пошутил однажды Глеб, «снегопад учености». Мама сердилась – только пыль собираешь. Но она не только, она заглядывала в них то с одной, то с другой стороны, каждый раз ощущая странный сладкий укол, надежду, обещание скорого родства. С мировой культурой. Дорога к пиру всеблагих лежала через этот пляшущий воздушный мостик, на это, именно на это счастливое преображение плебеев в патриции намекали и все их преподаватели, осторожно, но недвусмысленно давая понять: подлинными аристократами духа, аристократами от культуры становятся лишь знатоки языков, читатели Тацита и Гете. Сыворотка элитарности незаметно впрыскивалась в кровь, еще немного – и вы тоже будете иными, лучшими, чем сейчас, чем все...

Тошнота подобралась незаметно, сначала тошнило краткими приступами, потом все чаще и чаще. Чем резче Грунина корила их за невежество, чем обильней и заливистей немка цитировала классиков, тем противней ей становилось – фальшь. Хорошее немецкое слово. Она все это выучит, и что? Мировая культура повернется к ней не спиной, а вполборота, пусть даже в профиль, в профиль – и что? Ну вырвет она, зубами, задницей, это мировое гражданство, а дальше, а потом?! Аспирантура, положим, даже преподавание, сосредоточенные занятия наукой, и это – жизнь? Ажурный мостик тихо разваливался на унылые пыльные обрывки. *Falsch*.

Глеб с несколько вопросительной, впрочем, интонацией сказал: может быть, ты просто устала, надо отдохнуть. Олька засмеялась: да сколько уже можно учиться, поехали на майские ко мне, у меня день рождения, забыла? Аня поехала, вместе со всей их группой. Дача находилась в Опалихе, двухэтажные деревянные, только что отстроенные хоромы (папа у Ольки бросил науку, открыл кооператив и быстро процвел) – газ, теплая вода, большая полянка напротив дома, манящий грубый запах жареного мяса, красное вино, которого мальчишки, по протекции все того же всесильного Олькиного папы, купили целую реку, но это девочкам, себе – водки. Аня, правда, тоже отпила несколько глотков, никому не признавшись, что это впервые! Как-то именно водки не доводилось... Кажется, она была в тот день красивой. Светлые волосы, вечно собранные в хвостик, распустила, даже Лешка, их главный красавец, откинув за плечи длинные каштановые кудри, подошел к ней с витиеватым гекзамером-тостом, начинавшимся словами: «Златоволосая Анна, сияешь ты ярче светлого мая...» Дальше она не запомнила, кажется, еще что-то про «влажные очи без дна – привет царю Посейдону»...

День выдался по-летнему теплый, с шашлычной полянки они отправились погулять в лес, Аня шла под ручку – то с Лешкой, то с Митькой, оказавшимся, кстати, не таким уж ботаником, смеялась их шуткам, самих шуток не слыша, отхлебывала из сверкающей рубиновой бутылки (мальчики предусмотрительно с собой захватили), кружились просвеченные солнцем, подернутые дымкой зелени березы – на кустах торчали острые, липкие почки, трава

была свежей, новенькой, в желтых одуванчиковых кляксах. Лес еще не высох, под кустами и елками пряталась вода. На какой-то лужайке у ручья Аня села на сломанное дерево, кажется, дуб, потому что дальше идти была не в силах, и хохотала уже практически без перерыва, Лешка гладил ей плечи, Митька охотился на «оленя» – прыгал вокруг высокого пня с обрубками веток, – девчонки гоготали, а охотник подбежал к ручью и с криком/ «Прочь, нимфы!» начал брызгаться, все завизжали, захохотали еще звонче – особенно отчетливо в ушах прыгал колокольчик смеха Вики, к которой Митька, как обнаружилось только сейчас, был неравнодушен. Аня смеялась тоже, до нее брызги не долетали, ей было просто хорошо, но тут Лешка, стоявший рядом, вдруг повернулся, начал удаляться в сторону кустов, она протянула вслед руки, закричала: «Хочешь отплыть он нашей земли незаметно?»² Все снова засмеялись, а она запела эту же фразу на какой-то, как ей казалось, персидский мотив. Лешка исчез, а перед ней внезапно вырос Глеб (где, интересно, он бродил до этого?) и жестким голосом, вразрез с общим весельем, перебивая ее дивную песню, сказал: «Хватит. Сейчас же перестань. Напилась! Ведушь себя, как... Как...»

Он задыхался и не мог подобрать слова, поднял правую руку – ударить? Аня вскочила. Громко, глядя прямо в дергающееся Глебово лицо, совершенно не запинаящимся голосом произнесла: «Пошел ты на...!» Глеб повернулся и зашагал по тропинке к Олькиному дому. Визг у ручья стих – все всё слышали. Прошло несколько беззвучных мгновений, как вдруг тишину раздвинуло ровное густое гудение, на полянку прилетела пчела. Первая пчела этого года. Большая и грузная, деловито раздвинув лепестки-крылышки, она неторопливо и еще немного сонно летела к одуванчику, возвращая в оглохший мир движение и звуки.

Аня училась с Глебкой в одном классе, а теперь и на одном факультете. Он давно уже воспитывал ее и почти давил – еще осенью, увидев ее на сачке с сигаретой, рассказывал о душевредности курения, принес даже выписку из Павла Флоренского про табачный дым («чертов ладан»). Явно постарался написать круглым, разборчивым почерком, на двух сторонах картонного прямоугольника, сквозь который продернул нитку: «Снежинка, тебе в коллекцию!» Она только засмеялась тогда. Что Глебка – верующий, ходит в церковь, постится как сумасшедший, не курит и не пьет, Аня знала еще со школы. Он и ее давно уже пытался обратить, наставить на истинный путь, в начале десятого класса принес ей Евангелие (изданное где-то за рубежом) и несколько самых важных молитв, отпечатанных на папиросной бумаге. Аня не противилась, ей было любопытно, однако молитвы оказались смутные, невнятные, «иже», «яко», «воздаждь» – какое-то избыточное жужжание во всем; встречались, впрочем, и поэтичные слова – но зачем? Не лучше ли молиться не по бумажке, а как получится, от сердца?

Евангелие – книжку в серой обложке, размером с ладонь и совсем тоненькими страничками – она почитала повнимательней, и удивилась отстраненно: вот откуда Достоевский, оказывается, все взял! – впрочем, дочитать, даже Евангелие от Марка, которое Глеб рекомендовал ей особенно настоятельно, сил не хватило. Вскоре Аня вернула ему и папиросные бумажки с молитвами, и заморскую книжку. Все равно ж это только повод, думала она, радуясь своей проницательности: Евангелие тут, разумеется, ни при чем – это же любовь, ухаживает мальчик как умеет, делится чем может – больше ведь в классе Глебка никому никаких молитв не носил. И хотя самой ей Глеб не так уж и нравился (смуглый, длинный, черный, коротко стриженный, какой-то очень уж серьезный и погруженный в себя) – его внимание было приятно... Отчего-то только он никак не решался признаться в своих чувствах вслух, и терпение ее кончилось – на выпускном Аня нарочно осталась с ним в классе вдвоем, чтобы все наконец произошло.

² Перефразированные слова из «Энеиды» Вергилия. У Вергилия: «Как ты надеяться мог, нечестивый, свое вероломство / Скрыть от нас и отплыть от нашей земли незаметно?» (глава IV, 305–306).

В белой рубашечке, синем галстуке, Глеб стоял у раскрытого окна – одухотворенный, строгий, красивый. Совершенно чужой. Сверху, из актового зала, неслась музыка, металлический голос Гребенщикова. *«Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят...»* В глазах у Ани защипало, как всегда от этой песни.

– Знаешь, Он тебя очень ждет, – произнес вдруг Глеб.

Взглянул на нее, быстро опустил глаза. *Кто* Он, было ясно по приподнятой интонации.

– Да? Ну я тоже, тоже жду, – Аня тяжело вздохнула.

Ей хотелось услышать другое, поцеловаться наконец; все, все девчонки в классе были целованные, а две вообще уже *женщины* и рассказывали такое... Она единственная не целовалась ни разу! Конечно, это был секрет, никому на свете Аня не признавалась, рассказывала сочиненные истории про пионерский лагерь, но хотелось уже не придуманного, а правды.

А тут – «Бог», «ждет», да она тоже совсем не против встретиться, но позже, потом. А пока, Глеб, милый, посмотри, как хорошо на мне сидит это платье, белое, тонкое, воздушное, мамина знакомая сшила специально для выпускного. Посмотри, и глаза у меня не карие, а темно-зеленые на самом деле – такой необычный, таинственный цвет! Все мне так говорят. Но вслух Аня пробормотала «тоже жду». Глеб почувствовал себя уверенней. И уже не мог остановиться. Он говорил и говорил – о вере, любви Господней, о том, какую крепкую ощущает защиту с тех пор, как в прошлом году почувствовал в мире присутствие Божие, и какая на Пасху в храме небесная радость...

Так ничем и не кончилось тогда дело.

В универ Глеб поступил на русское, собирался изучать древнерусскую литературу, но они все равно часто встречались, ходили вместе в буфет, многие друзья тоже были общие.

Под его влиянием Аня даже зашла летом, уже после экзаменов, в церковь, – и что? Полумрак, удушливый запах ладана, иконы толком не рассмотреть, все ограждены какими-то золотыми ручками, неприветливые бабуси, урод-нищий – то ли женщина, то ли мужик – странное сморщенное безволосое лицо. Но она могла что-то не понять так с первого раза, не въехать – и Аня сделала над собой усилие, пошла снова, уже в другую церковь, – здесь посередине храма на табуретках лежал покойник в гробу, около него столпился хор старушек, несколько женщин в черном, старушки пели. Наконец-то хоть чуть-чуть стали понятны слова: «Ве-е-ечная па-а-мьть!» Встреча с покойником показалась Ане символична – в Глебовой церкви царит духота и смерть. Осенью она бросилась в учебу, обожание Журавского, жила от лекции к лекции, писала на бесконечных карточках новые слова...

В середине второго семестра Журавский уехал в Рим, на целый месяц – общаться с тамошними коллегами: быстро, быстро менялось время, выбивая прежде заколоченные двери ногой; и вот уже печатали Гумилева и Ходасевича, начали выходить запрещенные книги, в универе вовсю шли разговоры, что история партии – ненужный предмет. И начали выпускать «невыездных», пока еще только самых великих. Журавский отправился за границу впервые. Можно было только догадываться, с какими чувствами он ехал к тем камням и развалинам, о которых думал и рассказывал всю жизнь. Заменяла профессора Грунина – разница оказалась убийственной, аудитория вмиг опустела.

Отъезд Журавского почти точно совпал с Аниной вселенской усталостью, и полжизни она проводила теперь на сачке, в милом нетребовательном трепе, покуривая, когда было что, попивая, когда приносили, пиво, обрастая новыми знакомыми, незаметно созревая до романчика все-равно-с-кем... Последние надежды на Глеба окончательно рухнули после Олькиной дачи и лужайки. Глеб ушел. Из ее сердца тоже. Ольга рассказала ей потом по секрету, что в тот день случайно обнаружила его на чердаке, где Глеб, кажется... рыдал! «Все лицо было красное, опухшее, страшно смутился, когда меня увидел». Ане было все равно. Летнюю сессию она не завалила только за счет прежних заслуг.

После экзаменов все разъехались – кто по домам, кто путешествовать, Аня сама чуть было не поехала в Одессу, у Ольки там жила тетя и готова была поселить их обеих, но в последнюю минуту к ним решили присоединиться Вика, Ленка, Митька, еще двое ребят с русского, снять рядом домик – Аня решила не ехать. Олька обиделась смертельно, кричала в трубку: «Ты можешь мне сказать почему?!». Да если бы Аня могла. Если бы она сама хоть что-нибудь понимала, но отчего-то все, что еще недавно казалось таким соблазнительным – теплое море, старый портовый город, веселая компания – представилось бессмысленным, ненужным! Специально ездила к Ольке просить прощения, та складывала вещи, гладила маечки, сарафаны, Аня, вдыхая мокрый запах глажки, тупо говорила ей: «Мне кажется, я скоро умру, и это правда, а перед смертью ехать в Одессу, ну как ты не понимаешь». Олька бросила утюг, тряхнула черными кудрями, пнула чемодан ногой:

– Да всё, всё я понимаю! И тоже никуда уже не хочу.

Всхлипнула горько. Олька была горячая, но отходчивая, с настоящими казаками в близкой родне. Они познакомились еще на вступительных экзаменах, в коридоре, трясясь перед устным русским и литературой. Поступив, они сошлись – настолько близко, насколько Аня вообще могла с кем-то подружиться. Олька обладала феноменальной памятью, училась одной левой, преподаватели ее обожали, а у нее все силы уходили на любовь – безответную. Те, кому нравилась она, никогда не нравились ей – в тот момент она любила Митю, но Митя сох по Вике... Пинки по чемодану, возможно, предназначались именно им. Все-таки все они отправились в Одессу – без Ани.

Наступил июль. У родителей начался отпуск, они поехали к тому же Черному морю, правда, в Новый свет, уговаривали и ее – отказалась без объяснений. Да и как объяснишь.

Телефон звонил сначала часто, потом все реже – она не подходила. Листала разбросанные по комнате книжки – наиздавали горы, и она, как и все тогда, нервно скупала все подряд – Шаламова, Мережковского, Белого, Берберову, Соловьева, еще осенью заставила родителей подписаться на «Новый мир», на «Октябрь» – вырывая друг у друга из рук тексты, журналы тоже гнали «самиздат»... Аня читала что-то из одного места, потом из другого, шла на балкон, пряча огонек от ветра, закуривала, курила одну за одной. Табак занавешивал сознание дымкой отстранения, но и глядя на ситуацию со стороны, она только ясней понимала: к черту все! Отчаяние и какая-то непонятная, безадресная злоба поднимались и комкали душу, самое ужасное, что причин этому отчаянию и злобе не было никаких. Почему ей так грустно? Почему так гадко, тошно так? Она не знала, она не могла понять, снова и снова приходя все к тому же. Жизнь ее не имела ни малейшего смысла. Жизнь ее на фиг никому не была нужна. Пора было кончать этот затянувшийся праздник. И все внимательней она глядела в истоптанную, усыпанную окурками землю под балконом, все неотступней ее тянуло вниз.

Седьмой этаж, без шансов. Железная балконная перегородка давила под ребра, оставалось только вздохнуть поглубже и... Но вроде бы и жалко было родителей. Вернутся в один прекрасный день из своего Крыма, а под окном – трупик. Ясным воспоминанием мелькал иногда Журавский, его лицо, фразы, интонации, манера. Где он – была высота духа и – вот загадка! – мягкое, человеческое тепло. «Ладно уж, так и быть», – отвечала Аня кому-то невидимому сквозь зубы и возвращалась в комнату, подальше от соблазна. Жутко хотелось пить, проклятая южная душная сторона, вечное испепеляющее солнце, она доходила до кухни, захлебываясь, глотала из носика чайника воду.

Среди множества накопленных книг Аня наткнулась на подаренного ей еще зимой Германа Гессе «Степного волка», которого так до сих пор и не прочла. Открыла и немедленно подпала под сумрачное очарование его героя: книга оказалась родной. Душевные страдания, в которых до сих пор она видела одну лишь давящую, унижительную муку, повернулись иной стороной: «всякая боль есть память о нашем высоком назначении», цитировал «Степ-

ной волк» Новалиса, Аня прочла даже его роман о Генрихе фон Офтердингене, он был у нее по-немецки. Но Новалис оказался наивным, совсем еще свежим и юным по сравнению с истерзанным, обремененным лишним столетием Гессе. На время все эти странные фантазии и мечты околдовали ее и отвлекли, даже на балкончик Аня стала выходить реже.

Вернулись мама, папа – загорелые, помолодевшие, немножко одинаковые. Узнав, что весь месяц их похудевшая дочь просидела дома, практически не выходя на улицу, питаясь водой и корочкой хлеба, мама бросилась ее «спасать» – хотела отвести к врачу, какому-то знакомому психотерапевту – «он с тобой просто поговорит, у тебя же явная депрессия», но – счастье! Психотерапевт как раз сваливал в Израиль, ему было не до разговоров, и, к великому Аниному облегчению, мама просто пристроила ее на экскурсию от своей работы, на три дня во Владимир, Юрьев-Польский, Суздаль – развеяться, отвлечься. Она ехала на автобусе, смотрела на несущиеся по голубому небу волнистые облачка, заглядывала в книгу на коленках, книгу об одном одиноком волке, которую взяла с собой – как талисман, кусала от восхищения губы: «В ярости шагал я по серому городу, отовсюду мне слышался запах влажной земли и похорон». О, Моцарт, Моцарт!

В Кидекше Аня искупалась в ледяной Нерли, и, вернувшись в Москву, почти сразу же нырнула в лихорадочный жар гриппа. Все поехали на картошку, она осталась болеть – с грустью в сердце, она уже страшно соскучилась по однокурсникам, роль отшельницы начала томить – хотелось поболтать от души с Олькой, Вичкой и с Глебом тоже (которые не звонили! а могли бы, между прочим, и позвонить!), но словно бы сама судьба снова отбрасывала ее в одиночество, в безводущье. Оттого и на похоронах Журавского Аня оказалась из их группы единственная. На отпевание в тесной кладбищенской церковке она опоздала, перепутав время, попала только на финальную, перед самым гробом панихиду, подпела нестройному хору «Вечная память», тихо оплакала профессора вместе с огромной скорбной толпой и, возвращаясь, домой, внезапно осознала: все, что с ней происходит, никакая не депрессия, а мука безбожия. На следующий день она отправилась на дачу.

Родители так и не узнали, зачем их дочь вдруг сорвалась туда – снова в безлюдье и тишину. Никогда не заподозрили, что она ехала умирать. Смерть или встреча с Ним, Богом Журавского, Богом Глеба. Но никакого Бога – чем дольше Аня лежала в этой тьме непроглядней, тем безысходней становилась тоска. За окном не раздавалось ни шороха, ни звука, даже собаки не лаяли, даже стук поездов исчез, даже вечно шуршащие по крыше листья, капли, катящиеся шарики рябин стихли – как отрезало. Мертвая тишина. Аня попыталась вдохнуть поглубже и почувствовала: опустел и воздух, яблочный аромат тоже испарился. Бесконечная, гулкая, черная воронка, заглотившая запахи, звуки, жизнь. И на самом дне она златоволосая Анна. Именно теперь внутренним, внезапно раскрывшимся зрением Аня разглядела: далекий краешек неба, пусть недосыгаемо, но неизменно, но всегда (оказывается, оказывается, а она и не замечала!) светивший над ее головой, мелькнул и исчез – точно заслонку задвинули.

В городе так не бывает: огни фонарей, вывесок, визг тормозов, скользящие по комнате полосы света, но главное – живущие за стенкой, под полом, над потолком сотни, тысячи уставившихся в телевизор, гремящих посудой, моющих в ванне, ненужных, неведомых, но живых людей оберегали, грели своим невидимым теплом ее остывающую жизнь. Здесь она была безоружна. Здесь она была совершенно одна. Сейчас жизнь ее заберут легко и без возражений, не надо и самоубийств, этих наивных балконных игр! Вынут из груди сердце, как гнилой орех. Надо было немедленно встать, скинуть этот мертвящий морок. Она попробовала приподняться, зажечь свет, включить телевизор в конце концов, но не смогла даже шевельнуться. Точно холодную каменную плиту положили на грудь и нажали сверху. Нечем было дышать. Может, это сердечный приступ? Гипертонический криз? Но она абсолютно здорова, сроду не бывало у нее никаких приступов! Ужас залепил глаза, уши, горло, тис-

ками сжал сердце: это смерть была. И некому помочь, некому спасти ее. Хоть бы кто-нибудь, любой человек, те две собачки, жучки из бревенчатой стенки, просто кто-то живой... Ехала умирать, так чего ж ты трусишь, ехала умирать – на. Как хотелось ей теперь жаловаться и слабо плакать, может быть, даже просить прощения – у Глеба, родителей, у всех, кого обидела зря. Да вот только где они? Поздно. Но разве знала она, что смерть – это так, что это не небытие, не забвенье – бездна, удушение, хлад. Раздавливает, как червяка, как лягушку, она не чувствовала больше собственного тела, только голова еще работала, но мысли путались – да, она об этом читала, последним умирает мозг, или наоборот?.. И уже на грани исчезновения и утраты сознания, в страшном напряжении, с усилием вдохнув каплю воздуха в легкие, она выговорила наконец еле-еле: «Боже мой!» Боже мой, помоги!

Наутро Аня проснулась с устойчивым ощущением: что-то случилось. Она приоткрыла занавеску выглянула в окно. Погода стояла пасмурная, видно, дождь шел всю ночь. Посвистывали какие-то еще неулетевшие птички. За ночь комната остыла, воздух был прохладный. Завернувшись в одеяло, она прошлепала в угол комнаты, обжигаясь о холод пола, прикоснулась к печке – печка была чуть теплая. Тут же прыгнула обратно в постель – может, не так поздно, и можно еще поспать? Взглянула на часы: половина первого. Что такое, видно они остановились?! Поднесла к уху: часы звонко тикали. И тут Аня вспомнила.

Боже мой, помоги! После этих слов ужас и смерть постепенно стихли, дышать стало легче, она снова почувствовала себя живой, горячей, и... не одной. Рядом появился кто-то. Кто согреет, когда холодно. Вытрет слезы, когда тяжело. Будет ее любить.

Она уснула в слезах, проспала в ту ночь не меньше четырнадцати часов и дневной электричкой вернулась в город.

Не до борща

Дома она вручила маме астры и бумажный пакет с антоновкой. Мама с папой, впрочем, и сами собирались завтра на дачу – добрать последние яблоки, укутать лапами ветвями розы и закрыть сезон. Быстро и молчаливо пообедав с родителями (по официальной версии она ездила за город просто проветриться слегка), Аня набрала знакомый номер. Вчера все должны были вернуться с картошки. Действительно – трубку взял Глеб.

– Глеб! Вы вернулись?

– Вчера, уже ночью. Автобус сломался, – он, кажется, не узнавал ее, спросил неуверенно: «Аня?»

– Глеб, нам нужно поговорить. Не по телефону.

– Что прямо сейчас? Но я должен...

– Это займет четыре минуты!

Через час они встретились в университетской библиотеке. С того злополучного дня рождения они не сказали друг другу ни слова.

– Куда ты пропала? На целое лето! И на картошку не поехала. Ты что, все лето не подходила к телефону?

– А ты звонил?

– Нет, – Глеб смутился. – Рассказали добрые люди.

Он уже знал про Журавского, сказал, что завтра всей группой решили ехать на его могилу.

– А меня возьмете?

– А ты поедешь?

Он посмотрел на нее – ей показалось, печально, с немым вопросом. За лето его темные густые волосы выросли до плеч, он повязал их цветной тесемочкой, борода удлинилась и разлохматилась. Даже брови, которыми Глеб любил шевелить в минуты раздумий, как будто стали гуще.

– Глеб, ты прости меня...

– А я и не сержусь. Я просто не знал, что и подумать – исчезла, никого не хочешь видеть, на картошке тебя нет...

– Глеб, я исчезла, чтобы найти твоего Господа. Глеб, я Его нашла.

Он замер, нервно усмехнулся.

– Ты для этого меня сюда притащила?

– Разве можно было сказать это по телефону?

– Я так этого ждал...

– Знаю.

– Что же ты собираешься теперь делать? – он уже расслабился, улыбался.

– Пока просто принеси мне что-нибудь почитать. Евангелие у меня уже есть, в прошлом году, помнишь, протестанты всем раздавали. Теперь я все полностью прочту, по-настоящему, ты не думай. Но хочется еще и человеческого свидетельства, не апостолов, а такого же человека, как я или ты. Чтобы все, все мне говорили снова и снова, что это – правда. Чтобы убеждали меня.

– Я понял, я принесу. Кстати, как раз недавно приобрел одну замечательную книгу. Хочешь, пойдем ко мне. Дам тебе прямо сейчас, я ее прочитал.

– Ты говорил, что торопишься?

– Анята...

Была суббота, он не пошел тогда на всенощную – из-за нее, но Аня поняла это только много позже. Они отправились к Глебу. Глеб жил вдвоем с матерью, суровой, всегда усталой

и много курящей женщиной, работавшей хирургом в городской поликлинике. До сих пор мать сердилась на Глеба, что тот не пошел по ее стопам, не поступил в медицинский, и на церковные его увлечения взирала с холодным недоумением. Отец бросил их давным-давно.

Глеб открыл своим ключом, в квартире, как обычно, стоял невыветриваемый запах сигаретного дыма, Галина Ильинична выглянула в коридор, кивнула Ане, бормотнула Глебу: в кастрюле борщ, и скрылась в своей комнате.

– Борщ – тебе, я-то уже поел. Видишь, мама заботится.

Глеб улыбнулся, он отлично знал, что мама у него не такая уж страшная. Но Ане было не до борща.

Они закрыли дверь в крошечную Глебову комнатку, сплошь завешанную иконами и вырезанными из календарей фотографиями церквей. Усевшись на тертый Глебов диванчик, Аня сбивчивой скороговоркой рассказала, что случилось с ней на даче. Глеб сидел за своим письменным столом – слушал, затаив дыхание, ничего не говорил. Только вздохнул тихо: «У меня все было совсем по-другому». Дальше она стала спрашивать его обо всем подряд – про церковь, священников, молитвы, праздники, причастие, он отвечал и только веселел от ее любопытства и напора.

В тот вечер Аня узнала, что день рождения Церкви случился в Троицу, когда на апостолов слетел Дух Святой, под шум ангельских крыльев, что священник – только проводник, посредник между Богом и человеком; что духовенство бывает черным и белым, хотя иногда монахи живут и в миру, что монашеский крест – пожизненный. Сначала человек послушник, а потом его постригают и дают ему другое имя. Имя меняется, потому что прежний человек умирает. Католики и православные особенно близки друг к другу, но пока соединение вряд ли возможно. Нет на свете такого греха, которого не простил бы Бог. В году четыре длинных поста, плюс среда и пятница каждую неделю. Причащаться надо натошак, накануне утром нельзя пить даже воду. Митрополиты – тоже монахи, как и Патриарх. Крещение отменяет всю прежнюю твою жизнь, ты рождаешься заново, прошлого за спиной больше нет. Исповедь – второе крещение.

После той дачной истории Глеб, кажется, стал намного спокойнее. Он больше никуда не тянул ее, не звал, не давил, только ясно и кратко отвечал на вопросы, только мягко улыбался иногда. Уже в коридоре, перед уходом, вручил ей обещанную книжку, написанную архимандритом Киприаном Урусовым. Книга была перепечатана на машинке и переплетена в бордовый клеенчатый переплет. Откуда она у Глеба, Аня спросить не посмела.

– Только в автобусе не читай.

– Глеб, ты что? А перестройка?

– До нас дело дойдет еще не скоро, если вообще дойдет, – серьезно отвечал Глеб.

«До кого это – до нас?» – замирая подумала она и отправилась домой.

Архимандрит Киприан все объяснил

Сев в автобус, Аня немедленно раскрыла книгу. Оторваться было невозможно. Архимандрит Киприан словно все уже знал про нее, про ее черную тоску, отчаяние, жуткую дачную ночь и пробуждение.

Сам архимандрит, как сказал Глеб, был старинного княжеского рода Урусовых, ведущего родословную со времен хана Тамерлана, он мальчиком покинул Россию вместе с родителями. До шестнадцати лет жил невером и нехристом, пока, по собственному его выражению, Бог не победил его. Бог побеждал его не напрасно, подыскав Себе верного слугу и проповедника. В каждом слове архимандрита дышала непонятная сила, – может быть, это была власть посвященного, а может, сила веры, но именно она, эта внутренняя мощь абсолютной убежденности, вея над словами, удивляла сердце, будила душу.

«Помимо веры в Бога, – писал архимандрит, – существует и вера в человека, вера в его достоинство в его, быть может, еще не раскрывшуюся глубину, о которой и сам он не всегда знает». Верить в человека уже и означает любить его. Для этого надо всего лишь его расслышать – когда он говорит, рассказывает тебе что-то, не думать о своем, не готовиться к ответу, выбирая, на что можно возразить, с чем согласиться, но просто слушать. Слушать, чтобы услышать, вот и все! Но для того, чтобы услышать другого, надо научиться вслушиваться в себя, в голос своей совести, в голос той правды, которая присутствует в каждом, слушать и не бояться, не заслонять уши.

Да, надо научиться слушать себя и себя узнавать, хотя если делать это всерьез – это невыносимо. Это знают монахи, это знают одинокие люди. Вместо глубины и богатства человеку открывается его внутренняя бедность и пустота. Попробуйте посидеть день-другой в закрытой комнате, не выходя, лишив себя всех внешних впечатлений. Попробуйте побыть наедине с собой. Многие монахи выбегали из своих келий с криком – такое тяжкое это испытание – увидеть себя. Люди в одиночных камерах часто сходили с ума, кончали жизнь самоубийством. Наша внутренняя пустота – *страшная*, и ничем на земле ее не заполнить, какие бы земные наслаждения и радости мы не бросали туда, все исчезнет, как в черной скважине, один только Бог...

Чуть не плача Аня соглашалась со всем: как верно, как хорошо, черная скважина – это же про нее, точь-в-точь, как она курила на балконе, как задыхалась ночью на даче!

Она проехала свою остановку, долго шла пешком назад, пыталась читать на ходу, споткнулась, чуть не упала, захлопнула книгу, почти побежала домой. От ужина отказалась с порога – скорее в комнату, читать дальше.

В первой части книги архимандрит описывал только голые отношения человека и Бога, без посредников, без свидетелей. Но ведь существует и церковь, угрюмая, строгая, грозящая пальцем – что там Глебка не говори. Сплошные анафемы и перегородки. Четыре поста в год! Близкие отношения между мужчиной и женщиной допускаются только в браке! Отлучила Льва Николаевича Толстого! Какая уж там любовь, что-то ее не видно, архимандрит Киприан. Да, отдельные люди, может, кого и любили, но сама по себе эта организация, сама эта «святая, соборная и апостольская», как несколько раз процитировал что-то Глеб – какая уж там любовь... Церковь совершенно не уважала неповторимость человеческой личности. Ради эфемерного «спасенья души» все никак не хотела подарить людям свободу оставаться собой – быть веселыми, глупыми, дурачками, добрыми, человечными – такими, какими сотворил их Сам, между прочим, Бог. Нет, каждого нужно было затолкнуть в футляр, в гроб ограничений, а поскольку исполнить их все равно невозможно – превратить в ханжу. Всех заставить наступить на горло собственной песне.

Это было ясно как день. Аня думала: тут уж ее не переубедишь. Но архимандрит влек ее дальше и дальше, вторая часть книги называлась как раз «человек в церкви», и снова, точно расслышав все, о чем она думала, ответил на каждую ее мысль. К последним страницам все оказалось как раз наоборот. Церковь человека любит. Бесконечно, бережно, кротко. Потому что всякий человек – творение Божие, всякая душа скрывает Божественную красоту. Но однажды человек пал, и с тех пор уже не умел петь точно. Однако существовала и святость, и глубинный оптимизм христианства, по мнению архимандрита, состоял в том, что в церкви Христовой святыми могли стать все. «Мы – церковь святых», – повторял он на каждой странице.

Это и было целью христианской жизни – добраться до заложенной Богом сердцевины, пробиться к Божественному замыслу о тебе, услышать и открыть в себе свою настоящую песню. Потому что то, что ты пел до сих пор, было совсем не твоей – чужой песней, случайным пошлым мотивчиком, подхваченным на улице. Но в том, оказывается, и состояло «спасение» – запеть собственным голосом, встретиться с подлинным собой, встретиться с Господом и с другим человеком – оттого и слово «встреча» имело в устах автора совершенно особенное, почти мистическое значение, одна глава так и называлась «О встрече».

Через три дня цитатами из архимандрита были исписаны две ученические тетради по двенадцать листов. Нехотя отдавала она книгу Глебу.

– Глебка!

– Чего?

– Можно попросить тебя кое о чем?

– Конечно.

– Ты не торопи меня.

– Больше я к тебе вообще не притронусь.

Но он обиделся, Глеб.

Лестница в небеса

Она принялась за Евангелие. На это этот раз дело пошло, потому что Аня начала с конца, точнее, она просто открыла книгу наугад и попала на конец Евангелия от Матфея. «Я с вами во все дни до скончания века». Так Христос сказал своим ученикам. Это значит, больше *никогда* она уже не будет так кошмарно брошена в черную воронку, значит, можно уже ни о чем не волноваться! Потому что Он – с ней. До скончания века.

Эти слова осветили и другие истории про Христа, стало как-то очень понятно: все, что делал Сын Божий, все, что говорил, было ради человека. Не против, а за него. Чтоб ему же спокойней, веселей, чище жилось, чтобы он сдуру не разрушил себя совершенно.

И все чаще Аня заглядывала в ближайшую к дому Покровскую церковь.

Вылазки в христианство свершались в глубочайшей тайне от родителей: она выходила из дому в неподозрительно-привычное, утреннее время, но сев на «университетский» трамвай, сходила на три остановки раньше обычного. Проходила один квартал по ходу трамвая, мимо булочной и пельменной, около которой вечно кружились стайки синешеких мужичков, сворачивала в подворотню направо, двором сквозь восьмиэтажный, выстроенный в форме буквы П дом, и, вынырнув из второй его арки, оказывалась у ограды небольшого церковного двора.

Через несколько недель на ее православном счету было уже несколько панихид: на службы, начинавшиеся в восемь утра, она безнадежно опаздывала – выходить из дому удавалось только в полдевятого – как бы к первой паре. Правда ей нравилось стоять и на панихидах, вслушиваться в щемящую интонацию заупокойных песнопений, в постепенно проклепывающийся смысл слов и перечисления имен. Она тоже научилась подавать записочки и всегда писала имена умершего дедушки, бабушки, Журавского... Однажды ей показалось даже, что она ощущает их невидимое присутствие, они рядом – как и весь таинственный небесный мир, живой, бесконечный.

Однажды к панихидам прибавилось новое впечатление – как-то, видимо, в какой-то особенный день когда утренних служб было две, она пришла как раз к началу второй службы и попала на исповедь.

В притворе храма стояла плотная толпа народа и внимательно смотрела в одну сторону – там, впереди, за головами в платках она разглядела седенького священника, он читал по книжечке молитвы, повернувшись ко всем спиной. Дочитав, священник обернулся к смотрящим на него людям и заговорил. Он перечислял грехи – это были разные оплошности и ошибки, которые всякий человек совершает по много раз на дню. Назвав очередную тематически объединенную группу оплошностей (тщеславие, невоздержание, уныние, празднословие), священник полувопросительно произносил: «Грешны?» И сам громко отвечал за всех: «Грешны, прости нас, Господи!» Бабушки тихо вторили ему и крестились.

После речи все по очереди подходили к священнику, многие еще о чем-то недолго с ним говорили, затем наклоняли голову, священник накрывал их длинной широкой полосой материи, частью своего облачения, и читал одинаковые для всех слова, от постоянного повторения они даже стали различимы: «Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем все дважды целовали что-то лежащее на высокой подставочке и уходили вперед, ближе к месту, где шла служба.

Исповедь приятно поразила Аню своей простотой. Конечно, это было наивно, и, возможно, несколько механически, но вместе с тем, ни слова из того, что говорил священник, не было ложью, обманом и совершенно прямо касалось и ее тоже. Не постимся, не молимся, редко приходим в церковь, редко причащаемся – ну, это она будет, если все-таки крестится. Но были там и вполне общечеловеческие вещи – никого по-настоящему не любим, ищем

своего, не милостивы, раздражительны, нетерпеливы, осуждаем близких, а на себя не хотим посмотреть, обманываем, завидуем, обижаем других злыми, недобрыми словами, а к себе требуем уважения. Все это было так просто и точно. И все это было про нее.

Аня шла к остановке и крошила застывшие в следах ледяные лужицы – так она будет сокрушать свои грехи. Мерзли уши, хотелось есть, как вдруг ветер донес запах свежее испеченного хлеба. У булочной стоял грузовик, дядька в белом халате вносил в раскрытую дверь деревянный лоток. На лотке спала рота белых батонов, дышала во сне теплом. Аня зашла в магазин, встала в очередь, перед ней стояли две женщины, которых она только что видела на службе... Мир послушен и гибок, прозрачен и постижим. Те, кто живет в церкви, такие же люди. Грешат и ошибаются, как все, но просто еще и каются, сбрасывают с плеч тяжкую ношу. Христианство человечно, оно исполнено высокого снисхождения к человеку и удивительного тепла, потому что признает неизбежность слабостей и предлагает способ разрешать их из необратимой безысходности – такой простой способ!

Она покупает батон за 18 копеек, пакета нет, несет в руках, отламывает по кусочку, глотает, смеется тихонько сама себе. Трамвай подходит немедленно, она успевает на третью пару – морфология, скука смертная, стоило ли так спешить.

Примерно в те же дни ей начинают сниться одинаковые сны. Ее преследуют несколько джентльменов. В разных снах они одеты по-разному – то в безупречных черных смокингах с белоснежными манжетами и воротничками, то в грязных и потертых штанах, засаленных водолазках, то в обычных серых костюмах, в каких люди ходят на работу, – но все это, условно, те же лица. Впрочем, лица их стерты, серы, пусты, не считая взглядов. Все как один смотрят липко и тяжело. Их то трое, то четверо, то двое.

Сны развиваются по похожему сценарию. Она куда-то идет по улице, по дорожке сквозь двор, по университетскому парку, как вдруг начинает ощущать их присутствие, оглядывается – они идут сзади. Она шагает быстрее, но и они ускоряют шаг. Она бежит, они тоже, с какой-то нечеловеческой легкостью, воздушными шагами, но никогда не приближаются к ней до конца, хранят дистанцию. Запыхавшись, она сбавляет скорость, и они. Однажды она останавливается в бессилии и тоске: будь что будет! Но и они застывают, встают в отдалении, о чем-то негромко, неразличимо говорят.

Чего они хотели от нее? Отчего-то было ясно – ничего хорошего, цели их непристойны. Но почему тогда ни разу они не приблизились, никогда не напали, в конце концов? Значит, им было нужно совсем не тело, они посягали на что-то гораздо более серьезное, чем ее физическое существование и права.

Только дважды Аня догадалась, что нужно делать, и, пружинисто оттолкнувшись от асфальта, улетела от них прочь. Совсем невысоко скользила по воздуху над землей – на расстоянии в пять-шесть метров. Джентльмены все так же тяжело смотрели ей вслед, задрав головы, но вскоре оставались позади и исчезали из виду.

Сны настораживали – и дурацкой периодичностью, и интерпретируемостью сюжетов. Раньше ничего подобного ей не снилось.

В универе она осторожно спросила об этом Глеба. Они сидели за задней партой на лекции, на последней странице в тетради она написала: «Мне снятся похожие сны. Плохие». Придвинула Глебу. В ответ Глеб беззвучно раскрыл сумку, достал очередную самодельную переплетенную книжку, такую же большую, как архимандрит Киприан, раскрыл, что-то нашел там, усмехнулся. Придвинул ей книгу, показал пальцем, где читать. «Верующий снам подобен гонящемуся за своей тенью и покушающемуся поймать ее», – медленно прочитала Аня слова с ятями и ерами: книжка, с которой делали ксерокс, была дореволюционной. Посмотрела на титул – *Иоанн Лествичник. «Лествица»*. Взглянула растерянno на Глеба, глаза у него смеялись. Написала прямо на парте: «Что смешного?» – «У тебя испуганный вид». Аня нахмурилась, опять он над ней смеется! И вдруг почувствовала: пора. Как

только зазвенел звонок и все зашумели, сказала Глебу, что хочет креститься. Он ничуть не удивился, довольно прозаично спросил:

– Куда пойдем? У тебя есть какие-нибудь предпочтения?

– Я хожу в Покровскую церковь. Может, там?

– Правда? Как удачно. Я там тоже бываю. Последний раз был совсем недавно, на престол. Как же мы до сих пор не встретились? У батюшки, к которому я хожу, там служит знакомый священник. К нему и подойдем. Он тебя никуда не запишет.

Как это «не запишет», Аня не спросила – неважно. Не запишет – и хорошо.

Не забудьте полотенце!

Глеб привел ее на всенощную – субботнюю вечернюю службу. Аня была на такой первый раз. Народу оказалось не протолкнуться, совсем не то, что полупустынным тихим утром, зато хор пел иначе, не так торжественно, а печально и красиво – с какой-то особой вечерней мягкостью. Она долго слушала, на душе стало тепло, спокойно, правда очень хотелось сесть, ноги подгибались, но длинная лавка у задней стены была занята бабушками. Вдруг пение прекратилось, начали что-то читать – быстро, непонятно, гнусавым голосом. Долго. Конца всему этому видно не было. С удивлением она смотрела на Глеба, пожилых женщин, которые стояли не шевелясь, все это слушали и, похоже, даже что-то понимали. Но Ане стало совсем уже скучно, душно, она начала пробираться к выходу, вышла в церковный дворик, вдохнула полной грудью. Стоял конец октября, было свежо, она достала сигарету, закурила, подумала, что все-таки нехорошо стоять тут, курить – надо возвращаться на службу, потушила, бросила в урну, тут же закурила вторую. Покой, посетивший ее в начале службы, испарился, на душе было смутно. Да не игра ли все это с самой собой? Не самообман ли? Крещение, молитвы, батюшки, бесконечные душевные службы – чужой незнакомый мир, в который непонятно как ее занесло!

Глеб обещал представить ее некоему иеромонаху Антонию. «Батюшка с тобой поговорит после службы. Я уже договорился». Объяснил Глеб и что значит «не запишет» – имена всех, кто крестился, положено было записывать в специальную книгу, которая потом внимательно читалась «кем надо», но отец Антоний уберезет известную организацию от ненужной информации. Впрочем, это занимало ее мало. Она думала о том, что ведь придется с «батюшкой» разговаривать! О чем? Что он ей скажет? А главное – она ему?

Красные шары подстриженных кустов стояли нахохлившись; поднялся ветер – листья затрепетали, на несколько мгновений кусты превратились в горящие сухим пламенем костры. Языки огня отрывались, ложились вниз сухой подстилкой. Вот тут по дорожке они и побредут вдвоем, он – в длинной рясе, спускающейся из-под короткого пальто (однажды Аня видела такого же священника на остановке), рядышком – она. Иеромонах Антоний смотрит на нее внимательно и задумчиво, а она рассказывает о себе все-все-все. Под ногами шуршит листва, сумерки плотнеют...

Тут, правда, наступала заминка, потому что *что* «все-все», Аня не знала. Да и нужно ли это? Со священником, наверное, лучше говорить на сугубо духовные темы. Но ничего духовного в ее жизни вроде бы пока не происходило. Кроме... снов. Слава тебе, Господи, вспомнила! Вот про что она расскажет отцу Антонию. Все-таки хоть какая-то связь с религией. Аня снова поднялась по высокой лестнице в церковь. Служба наконец-то закончилась, свет в храме погасили, горели только свечи. Вспотевший взъерошенный Глеб в распахнутом пальто нашел ее в притворе.

– Он уже прошел туда, – Глеб махнул рукой на какую-то прежде никогда не замечаемую ею дверь. – Скоро выйдет.

– А что там?

– Там *их* комната.

Звучало загадочно, но расспрашивать она не посмела.

– Глебк! О чем мне с ним говорить, что спрашивать?

– Он сам с тобой поговорит, сам все скажет, – спокойно ответил Глеб. И тут же добавил: – А вот курить было совсем необязательно.

Аня отвернулась: учуял! Да как он смеет опять... И отец Антоний, наверное, такой же! Унюхает сигаретный запах и тут же ее проклянет! Зачем она вообще здесь?

– Знаешь, я лучше пойду. Я не хочу креститься.

Она двинулась к выходу.

– Аня, Анечка, прости. – Глеб схватил ее за руку. – Прости, я же пошутил. Хочешь, пойдем, покурим еще?

Аня махнула рукой: ладно уж, господин учитель, живи.

Из двери их комнаты начали выходить какие-то бородатые люди – один, другой, третий.

– Это певчие, это чтец, это дьякон, – тихо комментировал Глеб, – это здешний батюшка, отец Александр, но еще не наш.

Вышел как раз седенький, которого Аня видела тогда на исповеди. Все они были одеты в штатское, но у всех были не совсем обычные лица, на каждом лежала какая-то особая, светлая печать. Казалось, что и в пестрой уличной толпе можно было узнать их по этому залегшему в лицах ясному свету.

Отца Антония все не было. Храм пустел. Пожилая женщина в черном халате убирала с прилавка свечи. Раза два она уже зорко на них поглядела.

– Мы отца Антония ждем, – поспешил сообщить Глеб. – Кстати, вот и он.

Аня подняла голову.

Перед ней стоял человек – в синей куртке, брюках, с дипломатом, невысокого роста, с плохо растущей (какими-то неровными вялыми клоками) рыжеватой бородой и небольшой лысиной. Это что – этот? С очень усталым лицом, очень бледный. Кругловатые черты его лица казались бы совсем простыми, почти сельскими, если бы не внимательный, умный, и...сложный взгляд сквозь очки.

– Здравствуйте, отец Антоний, мы к вам от отца Михаила Серова, это вот Аня, она хочет креститься, – быстро и отчетливо проговорил Глеб, одновременно выставив горсточкой обе ладони, точно прося насыпать конфет или налить воду, но вместо этого отец Антоний, как само собой разумеющееся, вложил туда свою правую руку, которую Глеб немедленно поцеловал.

Аня онемела.

– Аня? Креститься? – спрашивал тем временем священник. И снова поднял на нее пристальный, пронзающий насквозь взгляд. – Тогда я вас, вас одну спрошу, – сказал отец Антоний после краткой паузы и, словно бы отодвинув в сторону мнущегося рядом Глеба, произнес со странной вдохновенной и нервной какой-то интонацией: – *Вы* верите, что Христос – Сын Божий?

Сердце у нее упало: вот что оказывается самое важное! Христос – Сын Божий. А она – сны, дорожка, религия... Листья!

– Верю, – вышел хриплый шепот.

Отец Антоний точно бы вместе с ней перевел дыхание.

– Я служу в среду, в четверг, потом в воскресенье. Вы когда можете?

– Всегда.

– В среду?

Аня беззвучно кивнула.

– Накануне хорошенько вымойтесь, наденьте все чистое, не забудьте взять с собой полотенце. Приходите натошак, часам к десяти, крестины у нас после службы.

– А кто будет моей святой?

– Надо посмотреть по календарю, кто поближе к вашему дню рождения.

– Я посмотрела. Анна Вифинская, «подвизавшаяся в мужском образе», – прилежно повторила Аня прочитанные в календаре слова.

– Да-да, есть такая, – подобие улыбки скользнуло по лицу отца Антония. – Что ж, обязательно приходите.

Он поднял отставленный дипломат и направился к выходу.

До остановки они шли с Глебом молча, говорить Аня была не в силах: трамвай подошел сразу, Глеб вышел раньше, ему нужно было пересаживаться, она поехала дальше. Начал накрапывать дождь, зонтик она, конечно, не взяла.

Быстро дошла, почти добежала до дома, позвонила в квартиру – никого, открыла дверь своим ключом, привычным движением ткнула затылком выключатель. В прихожей вспыхнул свет, на зеркале лежала записка: «Анечка, мы в кино! Ужин на плите. Вернемся поздно – две серии. Целую. Мама». И приписка папиным почерком – «и папа». Аня улыбнулась, иногда родители казались ей моложе, чем она сама. Разделась, стряхнула мокрую куртку, пошла на кухню.

На плите стояла сковородка с котлетами и жареной картошкой. Включила радио, послушала «Маяк» – оказывается, наступило время удобрять облепиху и белить стволы известковым раствором, а еще есть репу, которую очень легко готовить. «Недаром в старину говорили "Проще пареной репы"», – удивленно радовалась ведущая, и тут же была жестко вырублена за свою неуместную радость. Наступила тишина. В оконные стекла скреблись капли, в подъезде гроыхал лифт. Аня набрала Олькин телефон, никто не подошел. Затем позвонила Вике, она сидела дома, немного поболтали. Вика была легкой, хохотушкой, за ней приударял зануда Митька, Вика ужасно смешно его по телефону передразнивала – положив трубку, Аня почувствовала, что понемногу выходит из комы.

Неожиданность. Вот чем так поразила ее встреча с отцом Антонием. Все оказалось по-другому, все не как у людей. Он совсем не обрадовался тому, что она пришла креститься, даже ни разу по-человечески не улыбнулся, не сказал: «Ах, как хорошо, что вы пришли! Какое правильное вы приняли решение! Вы на спасительном пути». Не сказал даже: «Помолитесь накануне, почитайте Евангелие, у Вас начинается новая жизнь»... Сказал только: «Вымойтесь».

Было в этом предвестие каких-то совершенно новых, неведомых отношений – нелюбимых и вместе с тем странно домашних. Но еще удивительней было то, с каким затаенным волнением и напряжением говорил отец Антоний, как устало и остро смотрел. В самой нервности ей почудилась неровность, расслышался отголосок страшной именно в своей непреодолимой серьезности борьбы, которую вел внутри себя этот человек.

Позднее она долго еще посмеивалась над собственной мнимой проницательностью и озарением, настигшим ее после той первой встречи. Бесчисленные факты стерли и опровергли первое мимолетное впечатление, казалось бы, совершенно.

Полотенце пригодилось

В среду утром Аня отправилась креститься. Стоял зябкий переломный день. Дул резкий ветер, еще ночью ударил мороз, она шла знакомым маршрутом сквозь утренний сумрак, сжавшись, жалела, что не надела зимнее пальто. В сумке лежали платок, полотенце, в отдельном кармашке на молнии – завернутый в бумажку золоченый крестик.

Она попала как раз к концу панихиды, которую служил отец Антоний. Закончив, он кивнул ей, быстро провел в отдельное помещение – крестильню, находившуюся рядом с их комнатой. Посреди крестильни стояла большая серебристая чаша, в которой уже плескалась вода.

Вместе с ней крестили крошечную девочку – Марию. Машенька вела себя очень тихо, но когда отец Антоний опустил ее в воду, горько расплакалась. Две принесшие девочку бабушки быстро вытерли ее, завернули, начали баюкать. Машенька стихла. Аня тоже склонила над чашей голову и почувствовала, как батюшка осторожно поливает ей из горстей макушку. Волосы намокли, тут-то и пригодилось полотенце.

Когда начали ходить со свечками вокруг чаши, в комнате стало светлее; наконец-то рассвело, подумала Аня, но вдруг догадалась, что свет разросся не в комнате, а в ней. После крестин она еще раз промокнула голову полотенцем. Машеньку унесли. Отец Антоний проговорил ей несколько чудесных каких-то и радостных фраз, значения которых Аня не поняла. Все равно хотелось, чтобы он говорил еще и еще, чтобы этот свет, который вселился в нее, не растаял. Никогда. Точно поняв это, батюшка, уже простившись и выйдя из крестильни, вернулся, что-то добавил, снова начал говорить, но сейчас же прервал себя:

– Знаете, я вам просто не могу еще всего рассказать!

И едва не задохнулась она от нахлынувшего восторга, от открывшейся перспективы – бесконечной. Ведь это только начало, едва преступлен порог, и уже *так* хорошо. А сколько еще ждет впереди, сколько радостей, открытий и тайн жизни во Христе.

Облеченность во Христа, веселая и прозрачная окруженность Им вдруг стала живой. Точно невесомый светоносный покров накинули и плотно закутали им сердце.

Аня вышла на улицу: все было покрыто снегом.

Уста к устам

Легкий светлый дух, поселившийся в душе во время крещения, не оставлял ее. Все, о чем она читала в Евангелии и у архимандрита Киприана, все, что так восхищало ее ум, вдруг наполнилось плотью и кровью и живое жило в сердце.

Точно непонятная светлая сила ее схватила, точно таинственным блаженным приступом сжало и накрыло с головой – неделя прошла как во сне. Невыразимо сладком – она не могла оторваться, вдыхая, впитывая эту неслабеющую радость, ликование, созерцая внутренним взором сияние небесного мира. Иногда сладость слабела, но стоило произнести Его имя, один, два раза – все возвращалось снова. В эти дни Аня забыла о церкви, об отце Антонии, о Глебе – и без того было невероятно полно.

Ее внешняя жизнь оставалась прежней – она ходила в университет, записывала лекции, стояла в магазинных очередях, покупала сыр, молоко, овощи, но все это медленно и тупо, сквозь странную заторможенность, еле-еле пробиваясь к обыденным вещам. Язык слушался плохо, Аня едва разбирала, что ей говорят, и на время стала почти бессловесной, никаких конкретных образов и мыслей не было в душе, никаких чувств – только безмолвное созерцание присутствия, присутствия, вот и все. Иногда она думала со сладким замираньем: «Неужели так будет теперь всегда?» И уже никогда она не сможет вернуться назад, на человеческую землю, не сможет нормально существовать в прежнем трехмерном мире?

Через несколько дней блаженство стало медленно отступать и незаметно просочилось куда-то. Душу заполнила пустота. Прошел день, за ним другой, третий, ничего больше она не ощущала, и сколько ни твердила божественное, все озаряющее имя, сколько не выкрикивала даже: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» – ответом была тишина. «Мы играем в домино, пусто-пусто, пусто-пусто, пусто-пусто и темно», – как писал один кудрявый поэт с русского отделения... Уж не приснились ли ей и собственное крещение, и небесная радость после него?

В панике Аня бросилась в церковь. Отец Антоний служил, это было внезапное счастье, дар Божий. Она вошла как раз когда он заканчивал молебен. Батюшка покропил всех водой, и ее тоже, Ане показалось даже – слегка улыбнулся именно ей, и после молебна сам подошел: приветливый, бодрый, веселый.

– Здравствуйте, Анна! Как ваши дела?

Она застыла: как так сразу? Да и как обо всем расскажешь?

– Нормально.

– Может быть, у вас есть какие-то вопросы? – он слегка улыбался, он был сегодня простым и открытым.

– У меня есть, – она смолкла.

– Я вас слушаю, – и снова вдруг прежняя невыносимая серьезность и сосредоточенность.

Снова, как тогда, перед первой их встречей, ей захотелось убежать. Никогда ни с кем не разговаривала она о собственной душе – столько преград надо было преодолеть, такое бесконечное расстояние... Но отец Антоний опять совсем по-свойски хмыкнул, что-то добавил, пошутил и незаметно, незаметно она заговорила:

– Вы знаете, после крещения внутри было такое счастье, а теперь я чувствую, как оно уходит, ушло. И мне не хватает... Чего? Я не знаю.

– Да-да, – он тихо улыбнулся, – это счастье... кончается. Если б мы были святы, мы сумели бы удержать, но мы просто не можем вместить. Господь милует, живет с нами в первые дни, а потом эта сладость духовная, благодать исчезает, ничего не поделаешь. Это грустно, но неизбежно. Бог требует от нас веры, уже в подлинном смысле, веры в то, чего

не ощущаешь, не видишь в данный миг. Тут-то все и начинается. Не хватает... – он опять едва заметно улыбнулся, – это голод. Наступает страшный духовный голод. Но его можно утолить. Я обязательно принесу вам что-нибудь почитать, духовную литературу, и – почаще приходите в церковь. Даже когда все хорошо и полно, надо учиться и благодарить тоже. Главное, не отворачивайтесь сами, обращайтесь хотя бы мысленно к нашему Спасителю всегда...

Он говорил спокойно, медленно, и, странное дело, Аня чувствовала, как эти простые слова заполняют опустевшую душу, то чудесное послекрещенское состояние возвращается, обнимает сердце, пусть чуть слабее, чем раньше, и все же... Отец Антоний простился с ней, благословил, теперь и она тоже научилась испрашивать благословения и легко целовала ручку. На прощанье батюшка вручил ей бумажку со своим расписанием на месяц вперед, там были указаны дни, по которым он бывал в храме.

И еще несколько дней, в универе, дома, в гостях, стоило только вспомнить об этом разговоре – внутри делалось ясно. Бог был рядом, и она теперь Его благодарила. В воскресенье утром Аня сходила на службу, видела отца Антония издалека, он служил, подходить после литургии не решилась – вроде пока незачем. Но прошла еще неделя, в пятницу первой парой был русский язык, Гарина шпарила все по собственному учебнику – и, сверившись с бумажкой, Аня вновь отправилась в Покровскую, за добавкой.

И снова у отца Антония нашлось для нее время, даже больше, чем в прошлый раз:

– Вам надо бы еще раз причаститься, исповедоваться. Вы никогда не исповедовались еще?

– Никогда.

– Это будет теперь необходимо. Потому что существует диссонанс греха, и счастье, – он снова улыбнулся, – счастье благодати Божией оттого и отходит. Крещение отменяет все, что было позади, Господь уже никогда вас не спросит о вашем прошлом, и прежнего не помянет, но за все, что случилось после, нужно будет дать ответ. Сразу после крещения человек, как младенец, безгрешен и чист, но он очень быстро «взрослеет» к сожалению, потому что не грешить не может. Нет на земле человека без греха... – твердо говорил отец Антоний.

«Какая убийственная убежденность! – с ужасом думала она. – А вдруг все-таки есть такой человек? Где-нибудь? Разве это можно проверить?»

– Вот почему надо неустанно себя обличать. Только так мы сумеем остаться с Богом. Я вообще думаю, что муки ада не в шипящих сковородках, как рисуют иногда, а в богооставленности, – последнюю фразу отец Антоний произнес уже не так же отчетливо и ровно, в голосе послышалось волнение. На мгновение он смолк.

Аня слушала, опустив голову.

– Нет ничего мучительней для человека, – продолжал отец Антоний, – чем остаться одному, без Бога. На земле это невозможно в полной мере, на земле до последней минуты Господь рядом, Господь надеется и ждет, что человек все же обратится к Нему, все же взглянет на небо, но в вечности, в вечности – иные законы. Хотя, конечно, и в этом мире вспыхивают иногда страшные отблески, приоткрывается завеса, и бывает, что человек может ненадолго испытать свою Голгофу, когда оставляет даже Отец... – он замолчал.

Она стояла не двигаясь – балкончик, ночь на даче – что такое богооставленность, ей было знакомо. И вот, судя по тому, как проникновенно он говорит, ему тоже.

– Простите, увлекся, а мне еще крестить, люди ждут. Конечно, нам нужно обязательно поговорить еще. Приходите, приходите как можно чаще.

Она приходила. Но разговаривали они совсем понемногу – Аня робела и сжималась. Отец Антоний был так непохож на всех ее прежних знакомых! Подтянутый, стремительный, легкий, весь какой-то иной, диковинный, из другого мира – и говорил-то он странно, почти не глядя на собеседника, напрочь лишая беседу взглядов-мостиков, поддакиваний, улыбок – как

бы снимая с разговора всю обволакивающую, скрадывающую его неизбежные угловатости одежду – невыносимо прямо, жестко, голо. Слишком о том, о чем в эту минуту говорил. Может быть, поэтому даже самые обычные слова приобретали в его устах пронизывающий и высокий смысл.

– Как ваши дела, Анна?

А как будто бы все прежнее свое: «Вы веруете, что Христос – Сын Божий?» И она умирала: ну как мои дела? Ответить обычное: «нормально», «сдала коллоквиум», «выучила наизусть "Верую"», «прочитала Феофана Затворника» не поворачивался язык... Казалось, здесь меньше, чем «вчера мне было видение», прозвучит кощунственно. И она молчала. И злилась на себя.

Близилась сессия, нужно было учиться, Аня вяло запоминала новые выражения по немецкому, списывала Викины конспекты по диамату – несмотря на то, что в начале семестра у них прошло собрание курса, на котором все кричали, что этот бессмысленный предмет давно пора отменить! Им ответили: вот сдадите сессию, у следующего курса отменим. И опять нужно было читать Ленина, а главное конспектировать его подпрыгивающие, дерганные мысли... Спасала Вика – помимо смешливости у нее был дар каллиграфического почерка и какого-то ласкового пофигизма, диамат ее не злил, не раздражал, надо так надо – вся группа на нее молилась.

Как-то в библиотеке Аня столкнулась с Глебом, вместе они получили книжки и пошли на второй этаж, в читальный зал. Глеб тоже был озабочен – завтра у него зачет по истграму, и он нервничал: в их группе вела грозная Палкина, к которой ходили пересдавать по пятнадцать раз. Они уселись рядом за длинный стол, и когда оба устали смотреть в книжки, Аня прошептала:

– Глеб, как ты разговариваешь со своим батюшкой?

– А как я с ним разговариваю?

– Ну, как ты, например, отвечаешь на вопрос, как у тебя дела.

– Отвечаю как.

– Гле-е-е-б!

На них зашикали, они встали, вышли из зала на галерею. Глеб оперся о перильца, посмотрел вниз (там в очереди за книжками стояли Митька с Викой), почесал в своей черной шевелюре.

– Я понял. Скажу тебе честно: был бы рядом отец, и будь он верующим, я, наверное, говорил бы с ним похоже. Конечно, я совсем не все батюшке рассказываю, у нас тоже толпы народу, только самое важное, это как-то сам понимаешь, что важней. Да и потом, мы в основном на исповеди общаемся, а там все просто. Разговор короткий. Ты, кстати, исповедуешься?

– Да, уже один раз.

Она не стала говорить Глебе, что исповедь ее разочаровала. Разговаривать просто так оказалось намного интереснее. А на исповеди отец Антоний был сдержан, молча выслушал ее, сказал одну в общем самоочевидную вещь, и только она собралась ответить, как накрыл ей голову. Стало даже немножко обидно, но батюшка спешил: сзади стояла большая очередь, было воскресенье. Зато отойдя от чаши с причастием, Аня почувствовала, что в сердце точно бросили уголек, который вдруг согрел изнутри жаром, и жар этот жил в ней до самого вечера, так что даже разговаривать ни с кем не хотелось. «Я – непалимый куст, я не имею уст», – родился вдруг в ней вечером смешной стишок. К утру жар остыл, и снова захотелось если не огня, то хотя бы тепла.

Еще немного поговорим

Глеб так просто все сказал. Разговаривать как с отцом – и хотя с собственным, обычно слегка отрешенным папой-физиком Аня почти никогда не говорила откровенно, представить, как это могло бы быть, было легко! И при следующей встрече с батюшкой она чувствовала себя смелее. Даже задала ему вопрос – про то, как лучше готовиться к Причастию, и опять отец Антоний подробно и бережно ей все объяснил, а на рассказ про жар после причастия, сказал, что этот опыт лучше хранить в себе, ни с кем им не делиться, даже с батюшками: опасно! И опять смотрел немного сурово, строго, но все равно было видно, какой добрый он человек. Бесконечно далекий. Совершенно чужой. Ревностно исполнявший свой пастырский долг. Ведь так же складно и умно он говорил с каждым и уходил, как только кончались ее вопросы – ни словечка лишнего. Умри она внезапно – он даже не узнает об этом. Это было удивительно: он же духовный отец, батюшка, а про свою духовную дочь так толком ничего и не знает.

Как она жила раньше, с кем дружила, кого любила? Не знал. А может, она страшная преступница? А вдруг в сердце у нее неисцельные раны? С кем она встречается, куда ходит, что делает в свободное от храма время? Он и понятия об этом не имел. Раз только спросил: «Учитесь? В университете? На кого ж вы учитесь?» И все. Но Ане казалось, что лишь высказанное в слове, произнесенное вслух, на худой конец написанное несет информацию, существует, тогда она еще не понимала, что читать можно не только слова, но и сам облик ее, сбивчивую речь, невинный возраст. Не понимала и погружалась в мысленные беседы с ним – утешительные, полнящие душу теплом.

– Как ваши дела, Анна?

– Отец Антоний, – говорит она как можно спокойней. – Мои дела ужасны. Вчера вечером на меня напали разбойники, а потом я попала под грузовик, и теперь у меня сорок ножевых ран, перелом всех костей и растяжение всех-всех сухожилий. Это не считая сквозного ранения в легкие. Видите ли, я вот-вот умру.

– Как ваши дела, Анна?

– Не знаю, как и сказать вам, – она едва сдерживает слезы.

– Что-то случилось? – в голосе его звенит неподдельная тревога.

Глухие рыдания.

– Анна, успокойтесь, не надо плакать, скажите, что с вами?

Всхлипы.

– Анна!

– Батюшка!

– Я вас слушаю.

– Я беременна.

Что сделать, чтобы он заметил ее, чтоб разглядел, увидел, и... пожалел! Чтобы мучился о ней сердцем чтоб стал родным? Несколько раз Аня замечала, что иногда отец Антоний не остается на крестины после службы, а одевается и идет к остановке. А однажды батюшка вышел из храма вместе с пожилой женщиной, женщина негромко всхлипывала, отец Антоний присел с ней на лавочку, стоящую в укромном уголке церковного двора, и о чем-то долго беседовал.

Вот что. Надо поговорить с ним наконец по-человечески! Надо по-настоящему познакомиться. Ей ведь есть что сказать ему, о чем спросить – вопрос, глубокий, болезненный, совсем не о ходе всенощной и смысле соборования давно уже вызревал в ней и требовал разрешения.

Она начала обдумывать будущую речь. Родители уходили утром на работу, Аня просыпалась незадолго до начала первой пары, на нее торопиться было уже бесполезно, а до второй еще оставалось время; умывшись и прочитав коротенькое правило Серафима Саровского, она шла на кухню, готовила завтрак и репетировала.

– Отец Антоний, пожалуйста, поговорите сегодня со мной подольше. Мне хочется сказать вам что-то необычайно важное, – произносила Аня с серьезным и грустным лицом, быстро взглянув на себя в стеклянную створку шкафчика, и вытаскивала сковородку и нож.

Отец Антоний легко соглашался ее послушать.

– Отец Антоний, дело в том, что, я не только прихожу в церковь, молюсь и причащаюсь, – продолжала она, вынимая из холодильника молоко и яйца, – я ведь еще учусь в университете. На филологическом факультете, на ромгерме, в шестой немецкой группе. И после службы прекрасно успеваю к третьей, а то и ко второй паре.

Она выливала перемешанные с молоком яйца на скворчащую сковородку, приподнимала вилкой схватившиеся куски. Отец Антоний слушал ее очень внимательно.

– Отец Антоний, все острее я ощущаю внутренний разлад. Вот уже почти четыре месяца я хожу в церковь, исповедуюсь и причащаюсь, молюсь, читаю Евангелие – в общем, делаю то, чего никогда прежде не делала, и все это доставляет мне огромную духовную радость, – яичница готова, она заваривает себе чай и делает бутерброд с сыром.

Отец Антоний смотрит на нее сочувственно, улыбается своей ласковой, немного печальной улыбкой.

– Отец Антоний, несмотря на это, я так часто выхожу из храма с чувством огромного облегчения. Стягиваю с головы платок, складываю его в сумку. Понимаете, мне это страшно нравится – снять, запихнуть его подальше, тряхнуть головой: все! На улице стало еще теплее, сугробы чернеют и оседают прямо на глазах. Громыхая, подходит трамвай, я сажусь около окошка и незаметно нюхаю воздух – из оконных щелей тянет сыростью и скорой весной.

Она накалывает на вилку гладкие яичные куски, отхлебывает чай, не замечая, что жует, не слыша как мурлыкает радио, как звенит на улице троллейбус.

– Отец Антоний, до самой остановки я не могу оторваться, смотрю сквозь стекло на заморосивший первый весенний дождик, первые чистые лужи, разлившиеся на тротуаре, голые мокнущие деревья, темные ветки с крупными острыми почками. Я смотрю на входящих людей с россыпью брызг на одежде, женщины в вязаных шапках и беретах с усталыми лицами, бабушки в шерстяных платках, с желтыми, еще зимними меховыми воротниками, молодые парни уже в куртках – и все поводят плечами, стряхивают воду, приглаживают намокшие волосы, складывают зонты... Отец Антоний, я люблю, люблю этих женщин, береты, парней, бабушек, эту дрожащую влагу, воротники и почки, я люблю этот первый мартовский дождь, эту теплую и хмурую погоду. И я вся ее, их, они мне родные – эти люди, промокший город, оттепель, эта сладкая весенняя хмарь, и все они мне дороже в тысячу раз – свечек, темных икон, неясных слов хора и службы, такой длинной, – простите! Наверное, все это страшный грех. Я схожу с трамвая и уже от самой остановки знакомые-незнакомые люди попадают мне навстречу. Они возвращаются из универа. Кому-то я киваю, а кому-то нет – каждый день мы встречаемся в коридорах, но многих я так и не знаю, как зовут.

Распахнув стеклянную дверь, снимаю куртку, вручаю ее гардеробщице, получаю номерок, и едва успеваю взбежать по небольшой лесенке, как уже слышу, слышу свое имя:

– Анька! Анюта! Нюшенька!

Звук его подобен божественной музыке – к этому нельзя привыкнуть, неизменно, всегда мне приятно, мне счастливо – меня здесь все знают, меня окликнули несколько раз!

Перемена, и на просторной площадке между лифтами множество народу. Это место называется у нас «сачок». Вдоль прозрачной стеклянной стены тянутся низенькие батареи,

на которых в это дневное срединное время ни одного свободного места. Подхожу к кучке знакомых, получаю несколько чмоканий в щеку, кто-то теснится, втискиваюсь на свой ребристый кусок, усаживаюсь поуютней, закуриваю, опускаю сигарету пониже (курить здесь категорически запрещено, но дым стелется), стряхиваю пепел за батарею, слушаю, болтаю, смеюсь.

Это – целый космос, «сачок», великая Тусовка изо дня в день вершится в этом прокуренном пространстве, здесь обсуждаются последние новости, книжки, сплетни, здесь можно услышать очередной анекдот советского, но, впрочем, и местного фольклора, вполне в хармсовском духе, из жизни удивительной супружеской пары – Демки и Семки, например. Демкина преподает у нас теорию литературы, Семкин – диамат. Но еще чаще здесь не обсуждается ничего и ничего особенного тут нельзя услышать – потому как не в этом дело и не в том суть.

Пролетают двадцать минут перемены, звенит звонок, можно пойти на лекцию, можно не пойти – сачок немного пустеет.

В день степухи прямо сюда приносят нехитрое угощение – пиво, на радость нашим врагам – бабусям в красных повязках, изредка проверяющим при входе студенческие: «Хамы! Ни стыда нет, ни совести. Алкоголики. И девки с ними. И курют. Да какие ж вы девушки!». Кто сказал тебе, что мы девушки, бабаня? Иногда еще и дедок с одесским акцентом и вечным орденом на лацкане, стуча костылем, откуда-то припрыгивает им на подмогу: «Мы воевали». «Ты, отец, лучше скажи, где орден купил?» – беззлобно интересуется кто-то. К всеобщему восторгу, дед немедленно начинает материться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.